



БОЛЬШАЯ ПРОЗА
ДИНЫ РУБИНОЙ

Дина
Рубина

**НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ
УЛИЦЫ**



МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
P82

Серия «Большая проза Дины Рубиной»
Оформление серии *Алексея Дурасова*

Серия «Белая птица»
Оформление серии *Луизы Бакировой*

Иллюстрация в марке серии:
© lelevien / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Рубина, Дина.

P82 На солнечной стороне улицы : роман / Дина Рубина. — Москва : Эксмо, 2025. — 480 с.

ISBN 978-5-04-113003-9 (Большая проза Дины Рубиной)
ISBN 978-5-04-186881-9 (Белая птица)

Всё начинается с истории Кати — девочки, умирающей от голода во время блокады Ленинграда. Катя спасается благодаря эвакуации в сравнительно безопасный Ташкент, который стал вторым домом для тысяч советских граждан, бежавших от нацистского вторжения. Девушкой Катя попадает в ташкентскую криминальную среду, превращается в талантливую аферистку и «работает» на ташкентских рынках. Позже вне брака у нее рождается дочь Вера. Маленькая Вера не подозревает о материнском бизнесе... Девочка растет в окружении людей разных национальностей — русских, узбеков, евреев, украинцев... Однажды она спасает пьяницу, которого называет дядей Мишей, и именно он угадывает в ней художественный талант и начинает развивать его. Позже Вера уцелеет в разрушительном ташкентском землетрясении 1966 года и станет всемирно известной художницей.

Роман Дины Рубиной — неожиданный виртуозный кульбит «под куполом литературы», абсолютное преображение стиля писателя, его привычной интонации и круга тем.

Причудливы судьбы героев романа, в «высоковольтном» сюжете переплелись любовь и преступления, талант и страсть, способная уничтожить личность или вознести к вершинам творчества.

Откройте этот роман — и вас не опустит поистине вавилонское столпотворение типов: городские безумцы и алкаши, русские дворяне, ссыльные и отбывшие срок ээки, «белые колонизаторы» и «охотники за гашишем»...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-113003-9
ISBN 978-5-04-186881-9

© Д. Рубина, 2020
© Оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2025

«И стал Ташкент»

Предисловие

«Ах, вы из Ташкента! — говорят обычно. — Как же, как же... был там в командировках. Помню Алайский — широким базар: и покушать, и закупиться. Знаете, поездил я по Союзу всяко, видал разные базары, но Алайский — да, место особенное...»

Или: «О-о-о! Ташкент?! Я там у родственников однажды каникулы провела, — уютный был город, зеленый таковой... Мало что сейчас помню, но базар там у вас... главный, огромный... Алайский, кажется? Правильно? Ну, это целая страна! Это как бы другая планета — изобильная ароматами, яркая, цветная, дружественная...»

В крайнем случае, так: «Ташкент? Это где тряхануло в 66-м, да? Мой дядька строитель, он был в тех бригадах, которые за считанные месяцы возвели совсем новый город. Ну, и как — вам нравилось там жить?»

Не знаю... Сколько себя помню — стремилась «бежать из азиатчины». Когда впервые побывала в Таллине, уверила себя, что я — человек «европейских предпочтений», что мне нравится, именно нравится, когда люди мимо меня проходят с нейтральными лицами, а не пялятся, не лыбятся и не лезут «по-соседски» в мои дела.

Кстати, в Таллин я попала потому, что однажды познакомилась с эстонской журналисткой Надеждой Маевской. Она оказалась в Ташкенте в командировке, в то время уже читала мои рассказы в журнале «Юность» и захотела взять

6 у меня интервью для своей газеты. Проблема была только в том, что она не знала моего адреса. Но понадеялась на свою журналистскую напористость. И не ошиблась: дежурная по этажу в гостинице «Зерафшан», где Надежда поселилась, на вопрос обо мне радостно сообщила, что в детстве пела со мной в хоре музыкальной школы. «Дина живет на Чиланзаре, — подсказала она. — Садитесь в трамвай — во-он остановка через дорогу. Выходите возле Торгового центра. Там и спросите».

— Кого спрошу? — удивилась Надежда. — Там вообще, в этом районе, сколько жителей?

— Тысяч сто, — безмятежно ответила та. — Вы спросите, вам подскажут...

И Надежда, особа рисковая, вместо того, чтобы отложить дурацкую идею: разыскивать человека без адреса в стотысячном жилом районе, села в трамвай и поехала до Торгового центра. В трамвае она решила поспрашивать людей, — журналистка все же, человек по профессии общительный, — и громко спросила, что называется, в воздух, — не знает ли кто, где живет такая-то... Откликнулся с третьего ряда пожилой господин, который оказался преподавателем истории и коллегой моей мамы.

«Поезжайте до микрорайона Шестой квартал, остановка «Магазин «Синтетика», — подсказал он. — Номера их дома я не знаю, но просто спросите первого встречного юношу или девушку — это наверняка будут ученики Риты Александровны, Дининой мамы.

И знаете — что? Она так и поступила, и буквально первая же встреченная молодая женщина улыбнулась и охотно стала показывать: «Перейдите дорогу, дойдите до углового дома. Там направо метров сто вдоль арыка — пятый от дороги кирпичный дом. Квартиру не помню, соседей спросите...»

И Надежда, бывалая авантюристка, так и дошла до нашего подъезда и обратилась к трем бабкам на лавочке с сакраментальным вопросом.

«Квартира пять, этаж второй, но лучше посидите с нами — дома там сейчас никого. Рита Александровна на занятиях, Илья Давидович в институте на развеске студенческой выставки, Димка в школе. А Дина — на собрании в Союзе писателей.

И потрясенная Надежда, прожившая в Эстонии чуть ли не всю свою жизнь, опустилась на лавочку и стала меня ждать. А когда за чаем рассказывала мне историю моего разыскания, по ее мнению, потрясающую, уникальную... я только плечами пожала: «Ничего уникального. Это же Ташкент...».

Так вот, не желала я быть на виду у всего города! Мне нравилась европейская холодноватая отстраненность, закрытость частной жизни. Отсутствие развесистых южных сплетен, наконец!

Родившись в Ташкенте и прожив в нем 30 лет своей жизни, в 1984 году я переехала наконец в намечтанную Москву, в ту самую холодноватую — бр-р-р! — отстраненность от соседей, прохожих, едва знакомых и незнакомых людей, в закрытость частной жизни — до такой степени, что ты можешь загнуться от гриппа в собственной квартире, и никто из соседей не узнает об этом...

Я получила свою «В Москву, в Москву!» сполна, под завязку, по самое не могу и не хочу.

Часто вспоминала нашу соседку Фаину Ефимовну. Когда та пекла пирог, мы ели его всем подъездом. Звонят в дверь: на пороге Фаина Ефимовна. В руке — тарелочка, на ней — вырезная салфеточка, на салфетке — кусок пирога.

На старости лет сын перевез ее в Москву. Поселилась она в девятиэтажном типовом жилом доме где-то на Звездном бульваре. Испекла по своему обыкновению большой пирог, разрешила на нужное количество долей — по числу квартир, — и пошла по этажам. Звонит в дверь, ей открывают, она с улыбкой протягивает тарелочку, на тарелке — вы-

- 8 резная салфеточка, на салфетке — кусочек пирога. Соседи молча недоуменно глазели на нее, пытались понять: что этой чокнутой бабке нужно?

Тогда, в середине восьмидесятых, Ташкент стал постепенно возвращаться ко мне — издали, теплым приветом... я стала ловить себя на том, что на рынке задерживаюсь у рядов с корейской морковкой и капусткой, чтобы просто поговорить с девушкой-корейкой. Как и все ташкентские корейцы, та говорила на чистом правильном русском языке.

А еще я вернулась к давним запискам — в них был Ташкент и его люди, — а кто еще мог быть там в то время? Это были беглые записи о соседке Любе, художнице, полусироте, которая враждовала с матерью. Это были записки о чем угодно, обо всем, что тебя окружает и что интересует, — так пишут только молодые, выщипывая вокруг всю травку впечатлений и чувств — за неимением опыта, мастерства и иной судьбы...

Так вот, я вернулась к этим запискам и стала добавлять в них... еще не сюжетные повороты, а просто какие-то мысли, какие-то ташкентские картинки, которые вспоминала. Я добавляла в них Ташкент, по которому скучала. Много Ташкента. Полно и до отвала Ташкента: его солнца, его южной эксцентричности, его нахальства и душевной распахнутости...

Так оно и тянулось из года в год, постепенно накапливаясь, зрея, расширяясь в блокноте, но и в душе, и в воображении тоже. Появились в этих записках какие-то люди, вовсе не бывавшие ни моими соседями, ни друзьями. Целый человеческий муравейник. Но их всех, рожденных моим воображением, объединяло одно: они были ташкентцами. Собственно, они и были — Ташкентом.

А в 90-м году прошлого века случился тотальный обвал жизни. Это был обвал Союза, который мы решили покинуть, обвал собственных биографий — творческих

и личностных; тяжкая доля эмигрантов, медленное и мучительное вращение в иную культуру и иной язык. Это было перемещение в направлении противоположном — снова Восток, хотя и другой Восток, со своими мифами и миражами.

Вновь на меня нахлынуло тепло, солнечная лавина, летнее пекло, громокипящие воплями базары. Вновь я оказалась в той человеческой и природной температуре воздуха и чувств, откуда произрастали мои детские привязанности и впечатления.

И я вернулась к своим запискам о Ташкенте, которые к тому времени уже обросли какими-то начатками сюжета, уже переключались с моей личной жизнью и моими собственными мыслями. Я поняла, что это — книга, это — роман, и я там полноценный персонаж, я ведь выросла в нем, в этом романе; в этом городе. И затем целый год — 2006-й, — буквально не отрываясь от стола, я одержимо писала эту книгу.

* * *

Нет ничего проще, чем писать о родном городе — тут уж не только память сердца, зрения и обоняния, память времени тебе в подмогу... Тут память собственных ног, избегавших его улицы и тупики-переулки, диктуют тебе нужный ритм фразы. А ритмы тебе — изначально обреченной на музыку, но судьбой расконвоированной в писатели, — всегда были очень важны. Город детства — солнечный, алычовый Сад Радостей Земных — возникал ритмичными аккордами, пассажами, затейливой мелодией узбекских макомов.

Нет ничего труднее, чем писать о родном городе: ты рискуешь просто сгнуться в завалах памяти и чувств, пропасть под завалами любовей и дружб, перепутать названия улиц и переулков — тем более что их лет тридцать как переименовали.

Ну, довольно, говорила я себе: пора привыкнуть к тому, что твоего города больше не существует. Вернее, он суще-

- 10 ствует, и всегда будет существовать именно в том романе, который ты начала писать так давно, что и сама не отдавала себе в том отчета.

Главный герой книги «На солнечной стороне улицы» — сам Город, Голем романа... Я лишь вдвухала жизнь в его глиняные дувалы, чтобы он встал перед нами — очарованный, шумный, яркий, столпотворимый. Я лишь рассадила по сюжету населяющие его существа, а их чувства и изреченные мысли придумала по возможности правдиво, чтобы обрели они плоть и пот; чтобы писательских приемчиков и ниточек, этих «набоковских домовых», которые, как известно, живут в тексте и прядут прозу, не удалось углядеть. Чтобы, просто-напросто, вчитавшись (а это ведь род заклинаний!), ты попадал в Город и начинал там жить...

Не помню, кто и где заметил когда-то: «Зоркость — редко дар радости».

Мне хотелось, чтобы на поверхности этого романа необходимым миражом присутствовал причудливый сюжет — его арки и арыки, двory и базары, кентавры и ангелы, святые и злодеи; чтобы витал над ним абсурдный азиатский быт, незыблемый в своей безумности, крутящийся вверх ногами печальное черно-белое кино. Чтобы описанный, воссозданный мною, воплощенный в картинах моей героини Веры Город-роман полнился Вавилонско-Брейгелевским многоголосьем, баянился, строился, тянулся ввысь — возникал воочью.

Чтобы в этом романе, на котором лежит солнечная печать моего детства, навечно поселилось сладостное прошлое: «И стал Ташкент»...

Дина Рубина

НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ
УЛИЦЫ

РОМАН

Часть первая

...для любого сколько-нибудь тревожного человека родной город... — нечто очень неродное, место воспоминаний, печали, мелочности, стыда, соблазна, напрасной растраты сил.

Франц Кафка.

Письма к фройляйн Минце Э.

Я позабыла тот город, он заштрихован моей угрюмой памятью, как пейзаж — дождевыми каплями на стекле.

Не помню названия улиц. Впрочем, их все равно переименовали. И не люблю, никогда не любила глинобитных этих заборов, саманных переулков Старого города, ханского великолепия новых мраморных дворцов, имперского размаха проспектов. Моя юность проплутала этими переулками, просвистела этими проспектами и — сгинула.

Иногда во сне, оказавшись на смутно знакомом перекрестке и тоскливо догадываясь о местонахождении, я тщетно пытаюсь припомнить дорогу к рынку, где ждет меня спасение от позора.

Я не помню лиц соучеников, и когда на моем выступлении в Сан-Франциско или Ганновере ко мне подходит некто незнакомый и, улыбаясь слишком ровной, слишком белозубой улыбкой, говорит:

14 «Вспомни-ка школу Успенского», — я не помню, не помню, не помню!

...Тогда почему все чаще, возвращаясь из Хайфы или Ашкелона домой, поднимаясь в свой иерусалимский автобус и рассеянно вручая водителю мятую двадцатку, я глухо говорю:

— ...В Ташкент?..

1

Из долгой, с ветерком, гастрели мать нагрнула неожиданно и, вызнав у соседей про измену отчима, пошла резать его кухонным ножом. Нанесла три глубокие раны — убивать так убивать! — и села в тюрьму на пять лет...

Вера в тот день как раз читала «Царя Эдипа». Распластанная книжка так и осталась валяться на кухонном столе дерматиновым хребтом вверх, словно силась подняться с карачек... Так что все оказалось по теме. Хотя убийства настоящего и не вышло. Дядя Миша, отчим, долго валялся по больницам, но окончательно не выправился — подволакивал ногу, клонился влево, подпирая себя палкой. Кашлял в кулак...

«Догнива-а-ает», — говорила мать, убийца окаянная.

Сама же отсчитала весь срок до копейки, и, когда вернулась, Вере уже исполнилось двадцать.

Вот вам конспект событий...

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. Ведь любая судьба к посторонним людям — чем повернута? Конспектом.

Оглавлением... В иную заглянешь и отшатнешься испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой высоковольтной жизни? 15

* * *

Вернулась она тихо: позвонила в дверь двумя неуверенными звонками и, когда Вера открыла, прослезилась и обмахнула щеки дочери такими же неуверенными поцелуями. И то и другое было ей несвойственно.

«Присмирела, что ли, на казенной баланде?» — подумала Вера.

Мать прошла отчего-то не в комнату, а в кухню; Сократус — холеный барин, эстет, платиновые бакенбарды — следовал за ней тревожной трусцой, морщась от ужасного запаха тюремной юдоли.

Мать опустила на табурет, медленно стянула с головы косынку (поседела, фурия, отметила Вера) и мягко, со слезою в голосе, вздохнула:

— Ну вот, вернулась к тебе твоя мамочка...

Привалившись острым плечом к дверному косяку, Вера молча наблюдала за нею. Только после ее слов, вернее, после этого красивого обнажения поседевшей головы, она поняла, что играет сцена «Возвращение мамочки», и мысленно усмехнулась. Мать между тем оглядела кухню уже другим, своим прихватывающим взглядом, поддала носком стоптанной босоножки обломок угольного карандаша на полу:

— Все малюешь... Я в твои годы горбила всюю.

— А, здравствуй, мама! — словно узнав ее наконец, воскликнула дочь. И согнала с губ улыбку. — В мои годы ты всюю спекулировала.

Та подняла на нее светлые рысьи глаза: видали верзилу? — стоит, жердь тощая, старая майка краской

16 заляпана, взгляд угрюмый, насмешливый... Выросла. Самостоятельная!

Они глядели друг на друга и понимали, что жить им теперь, обеим, бешеным, в этой вот квартире. Нос к носу...

* * *

Я, пожалуй, встряну здесь ненадолго. Собою их не заслону, хотя я и автор, вернее — одно из второстепенных лиц на задах массовки. Я и в хоре пела всегда в альтах, во втором ряду. Вы помните, конечно, эти немолчные хоры на районных конкурсах школьных коллективов? Если нет, я напомню.

Выстроились на сцене двумя длинными рядами. Одежда парадная: белый верх — черный низ, зажеванные уголки красных галстуков с утра тщательно отпарены плюющим утюгом...

Второй ряд стоит на длинных скамьях из спортзала, не шевелясь и не дыша, потому что однажды, из-за подломившейся ножки скамьи, все дружно и косо, как домино из коробки, повалились на деревянный пол сцены.

Подравняться!!! Носки туфель чуть расставлены... Смотреть на палочку!!! Набрали в грудь побольше потной духоты зала, и!..

Вот хоровичка поднимает руки, словно готовясь долбануть локтями кого-то невидимого по обеим сторонам. Дирижерская палочка подрагивает и ждет. За роялем Клара Нухимовна: белое жабо крахмальной блузки, слезящийся нос, жировой горбик на шее... В черном зеркале поднятой крышки рояля подбитой голубкой трепещет отражение ее комканого кружевного платка.

И вот — бурный апрельский разлив вступления!

Взмах из затакта: повели медленно и раздумчиво... 17

Ветви оделись листвою весенней...
И птицы запели, и травы взошли,
Весною весь мир отмечает рождение...

звук нарастает, жилы на шее хоровички натягиваются...

Великого сы-ы-на... Вели-кой земли-и-и-и...

И поехали с орехами:

Леееееенин...

Это мы, альты и вторые сопрано, еще затаенно;
и вдруг — восторженный вскрик первых сопрано:

— Ленин!!!
Это весны...

Первые сопрано, заполошно перебивая:

— Это весны цветенье!!!
Ле-ееенин...
Ленин!!!

Дружное ликование в терцию:

— Это побеееды клиииич!
— Славь-ся в века-а-ах...

Совместное бурлацкое вытягивание баржи:

— Леееееенин!
Наш...

Вторые сопрано и альты, борясь за подлинную истовость:

— Наш дорогой Ильич!!!

18 И пошел, пошел, ребятки, финал — наш великий исход, исступление, искупление, камлание, сладострастие тотального мажора безумных весталок:

— Ле-ни-ну — слааааааааааааа-ва!!!
Пар-ти-и слааааааааааааа-ва!!!
Сла-ва в векааааааааааааааа-ах!!!

...и вот теперь... подкрадываясь с пианиссимо, раскручивая птицу-тройку до самозабвенного восторга, по пути прихватив мощное сопрано нашей хоровички, налившейся свекольным соком, стремительно хлынувшим на лоб ее, щеки и монументальную грудь!!!

Слаааааааааааааааа-а-ва!!!

Обвал дыхания в беспамятство тишины.

Яростный гром аплодисментов под управлением жюри.

* * *

С неделю было тихо. Мать не трогала Веру, присматривалась. Правда, в первый же вечер в отсутствие дочери сгребла все холсты, подрамники, кисти и коробки с сангиной и мелом и свалила на пол в маленькой восьмиметровой комнате, где Вера обычно спала.

Большую же, пропахшую скипидаром, лаком и краской, — дочь считала ее мастерской и на этом основании превратила в свинарник, даже доски для подрамников в ней строгала, — мать отмыла, проверила, постирала и повесила на окна старые занавески, пять лет валявшиеся в углу на стуле (света ей, дылде, видите ли, не хватало!), и для порядку прибила на дверь небольшую такую задвижечку, не засов ка-

кой-нибудь амбарный, — все-таки с дочерью жить, не с чужим человеком. 19

Вера, увидев это, ничего не сказала: в самом деле, нужно же и матери где-то жить. Жаль было только постановку для натюрморта, мать разобрала ее. Окаменелые от давности гранаты выбросила, а медный, благородно темный кумган обтерла от пыли тряпкой, служившей в постановке вишневым фоном, и переставила на подоконник.

«Ах ты, корова старая, — подумала дочь беззлобно, — я неделю ждала, пока он пылью покроется, чтоб не слишком блестел...»

Вообще Вера была настроена миролюбиво, мрачно-миролюбиво. Вечерами сидела в своей комнате и часами рисовала автопортреты, поминутно вскидывая глаза на свое отражение в остром осколке когда-то большого и прекрасного зеркала. Иногда раздевалась до пояса (натурщицы были не по ее студенческому карману) и таким же сосредоточенно-цепким взглядом, словно чужую, вымеряла себя в зеркале: прямые плечи, робкую, как у подростка, грудь, втянутый живот...

В первые дни мать, все еще играя роль «вернувшейся мамочки», пробовала беседовать по душам, то есть совала нос не в свои дела, давала идиотские советы или принималась вдруг рассказывать душещипательные тюремные истории. Но нарвалась несколько раз на едкие замечания дочери и отступилась.

Дочь не пускала в свою странную, но, видимо, устоявшуюся жизнь. Ну и маячил между ними еще живым укором этот недобиток, который и получил свое, на что напрашивался...

20 У Веры как раз тогда заканчивался период длительного увлечения хатха-йогой; по утрам она уже не стояла на голове и не тратила полтора часа на позы с тех пор, как умножила эти полтора часа на семь (неделя), а потом на тридцать (месяц), и прикинула — сколько времени поглотило у нее бессмертное учение. Рассудив, что полтора месяца — довольно жирный кусок от ее, безусловно, смертной жизни, утренние занятия самосовершенствованием она прекратила, но все еще была убеждена, что, закрыв глаза и вызвав в воображении круг зеленого цвета, можно сосредоточиться и усилием воли погасить любые нежелательные эмоции — например, ярость при виде задвижки на двери, которую приколотила эта старая тюремная комедиантка.

С тех пор как мать вернулась, зеленый круг приходилось вызывать в воображении довольно часто, и у Веры появилось опасение, что вся ее жизнь теперь может пойти сплошными зелеными кругами: мать устроилась уборщицей в очередной стройтрест и понемногу набирала обороты: купила себе венгерские кроссовки, завилась и стала красить губы.

Вера насторожилась, как насторожился бы житель горной деревушки, заметив, что над давно погасшим вулканом вновь курится дымок.

И вправду, дней через пять, вечером мать ввалилась разгоряченная, деятельная. Распахнула пошире входную дверь: за нею, тяжело топая, поднимались по лестнице двое мужчин с ящиками на плечах.

— Рахимчик, сюда... Рахимчик, легче давай... — командовала мать. — Колюнь, ложь эту хреновину вот здесь... Осторожней, не побей!.. Та-а-ак...

Вера вышла из своей комнаты и молча смотрела на озабоченную беготню. Колюня и Рахимчик сбегали